

## «ФИЛОСОФ В ОСЬМНАДЦАТЬ ЛЕТ»

Популярные комментарии Н. Л. Бродского, В. В. Набокова и М. Ю. Лотмана к «Евгению Онегину» не дают справки об определении пушкинского героя, вынесенном в заголовок моей статьи. Между тем эту характеристику (необычную для персонажей русской повествовательной литературы, предшествовавшей появлению в печати первой главы «Онегина»<sup>1</sup>) следовало бы оценить как один из ключей к замыслу романа в стихах, градуально изображающего поражение философа, который вначале разочаровывается в избранном им образе светской жизни, затем вынуждается бежать из рутинированно-отприродного мира, где он искал спасения, и, наконец, терпит крах в любви, не находя себя также в интимной сфере.

По предположению, образцом для пушкинской критики самонадеянного ума, каковой персонифицирует собой Онегин, послужило сочинение Джорджа Беркли «Алкифрон, или Мелкий философ» (1732)<sup>2</sup>. Оно было известно Пушкину, скорее всего, в английском оригинале; возможно, чтение сопровождалось сверкой с одним из двух французских переводов, опубликованных уже в 1734 г.<sup>3</sup> Беркли отходит в «Алкифроне» от проповеди «имма-

<sup>1</sup> Впрочем, пушкинский герой-философ может быть понят и как переоплощение автора-философа, излагавшего в XVIII в. свое мировоззрение в стихотворной форме; о просвещенческой поэзии такого сорта в России см. подробно: Татьяна Артемьева. «Метафизическое стихами»: философия в России XVIII века между метафорой и понятием // *Die Welt der Slaven, Jahrgang LVII, Heft 1, 2012* (in press).

<sup>2</sup> К влиятельности «Алкифрона» в среде британских писателей (вплоть до Шелли) ср.: Hans Joachim Oertel. *George Berkeley und die Englische Literatur*. Halle, 1934.

<sup>3</sup> В дальнейшем страницы английского оригинала этого труда (Laurent Jaffro, Geneviève Brykman, Claire Schwartz (Eds.) *Berkeley's Alciphron. English Text and Essays in Interpretation*. Hildesheim, Zürich, New York, 2010) и его анонимного французского перевода (Alciphron ou le petit Philosophe, tome premier. La Haye: chez V. Gilbert, 1734) указываются сразу вслед за извлечениями оттуда. Таким же способом цитируется русское издание: Джордж Беркли. Алкифрон, или Мелкий философ. Работы разных лет, перевод А. А. Васильева. СПб, 1996. Каким образом Пушкин получил доступ к «Алкифрону», неясно; ср., однако, соображения М. П. Алексеева об использовании Пушкиным в Одессе английских

териализма», развитой им в «Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge» (1710) и в «Three Dialogues Between Hylas and Philonous» (1713), и сосредоточивается здесь на защите религиозного мышления в целом от нападок тех, кто объявляет себя безбожниками и кого он именует «мелкими философами» («minute philosophers», 37). Это выражение Беркли заимствовал из трактата Цицерона «О старости», цитату откуда он взял эпиграфом к «Алкифрону». Цицерон говорит о «*minuti philosophi*» (они эпикурейски не верят в бессмертие души) в XXIII разделе своих рассуждений о достоинствах пожилого возраста. Вероятно, Пушкин дурачил публику, открывая последнюю главу романа признанием в том, что не читал Цицерона (по меньшей мере в Лицее). Порядковый номер строфы, где Онегин аттестован «философом», совпадает с тем, под которым стоит уничижительный отзыв Цицерона о сторонниках Эпикура. В таком освещении замечание об осведомленности Онегина в латыни («Он знал довольно по-латыне, Чтоб *эпиграфы* разбирать...», I, VI) можно трактовать не только генологически, как это сделал Ю. М. Лотман, считавший, что в романе речь идет об античном жанре надписей<sup>4</sup>, но и как интертекстуальный сигнал, намекающий на релевантность для пушкинского произведения выдержки из Цицерона, которой был предварен «Алкифрон». Итак, имеются косвенные данные, указывающие на то, что восемнадцатилетний (т. е. слишком юный, незрелый) философ выступает у Пушкина аналогом тех лиц, которых оспаривали Цицерон и Беркли.

Но первая глава «Онегина» содержит и множество прямых отсылок к диалогам, из которых был составлен «Алкифрон». Заглавный герой в тексте Беркли и Онегин (тоже заглавный герой) одинаково внезапно становятся обладателями наследства и, чтобы выбраться из духовного кризиса, равно меняют столичный город, пресытившись им, на сельскую местность (автор «Алкифрона» подразумевает под ней Род Айленд, где он сам поселился, пытаясь основать там богословский колледж, но в открытую приурочивает действие к английской провинции):

---

книг из семейной библиотеки Воронцовых: М. П. Алексеев, Эпиграф из Бёрка в «Евгении Онегине» (1974) // М. П. Алексеев. Пушкин и мировая литература. Л., 1987. С. 560–571. О восприятии Пушкиным британской культуры в общем плане см.: Александр Долинин, Пушкин и Англия. М., 2007. С. 15–53.

<sup>4</sup> Ю. М. Лотман. Роман Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1980, С. 131–132.

Алкифрону уже за сорок, он знает людей и не чужд книгам. Я познакомился с ним в Лондонском обществе адвокатов («at the Temple», 26), когда неожиданно он получил наследство и отправился путешествовать по самым просвещенным странам континента. По возвращении в родные края Алкифрон предался увеселениям городской жизни, но они ему в конце концов наскучили, ввергнув его в состояние какой-то вялой и раздражительной праздности (14).

Заключительное слово процитированного отрывка «indolence» (26) передается Пушкиным в приложении к Онегину как «безделье» (I, XLIV), переключаясь со своим лексическим прототипом по звуковому составу корневых морфем (dol / дел). О том, что Пушкин, рассказывая о «недуге» Онегина, ориентировался на диалоги Беркли, убедительно свидетельствует всплывающий здесь англицизм «сплин» (I, XXXVIII). В «Мелком философе» настроение, обозначаемое этим словом, подробно описывает как сугубо английское явление благомысленный Критон:

Something there is in our climate and complexion, that makes idleness nowhere so much its own punishment as in England, where an uneducated fine gentleman pays for his momentary pleasures, with long and cruel intervals of spleen; for relief of which he is driven into sensual excesses, that produce a proportionable depression of spirits, which, as it creates a greater want of pleasures, so it lessens the ability to enjoy them. There is a cast of thought in the complexion of an Englishman, which renders him the most unsuccessful rake in the world (74–75)<sup>5</sup>.

В отличие от Пушкина, без околичностей перенесшего «spleen» в русский язык, неизвестный французский переводчик «Алкифрона» прибегнул в данном случае к парафрастически-разъяснительной конструкции: «...cruels Intervalles d'Accablement Splenique...» (120). Знакомство Пушкина с английским Беркли вряд ли подлежит, стало быть, сомнению<sup>6</sup>. По оценке Беркли,

<sup>5</sup> Ср.: «Есть что-то в английском климате и темпераменте, делающее праздность своим собственным наказанием в большей степени, чем где бы то ни было. Ибо в Англии необразованный светский джентельмен платит за свои минутные удовольствия долгими и жестокими приступами хандры, а чтобы от них избавиться, он предается излишествам чувственности, вызывающими уныние духа, которое, порождая еще более острую потребность в наслаждениях, именно поэтому и лишает способности их испытывать. Какая-то особая складка в характере англичанина делает из него самого никудышного развратника на свете» (61). Заменяя «spleen» на «хандру», современный русский переводчик, видимо, принял во внимание, что то же самое сделал Пушкин.

<sup>6</sup> Похоже, что из «Алкифрона» в пушкинский роман перекочевал и еще

свободные от религиозности умы, одним из которых явился Алкифрон, неизбежно должны, не ведая пути спасения, впасть в отчаяние (о том же будет писать столетие спустя Кьеркегор). Чем более распространяется атеистический скептицизм, тем чаще происходят самоубийства. К такому заключению Критон приходит вскоре после обсуждения склонности англичан к депрессии. Пушкин учитывает смежность этих мотивов у Беркли и воссоздает ее, но не обнаруживает у Онегина желания свести счеты с жизнью. Соответственно: страх жизни, свойственный, по Беркли, «мелким философам» («...they are afraid to live», 75), перевоплощается у Пушкина в незаинтересованное отчуждение от нее:

Он застрелиться, слава Богу,  
Попробовать не захотел,  
Но к жизни вовсе охладел (I, XXXVIII).

Переделка претекста затрагивает и путешествия Алкифрона: если тот приезжает в деревню после ознакомления с Европой, то Онегин пускается в странствия по России, покидая свое имение.

Свое неверие Алкифрон объясняет тем, что ему, как и прочим вольнодумцам, пришлось столкнуться с великим разнообразием «принципов и доктрин», которые не могут быть «все вместе правдой» и потому не дают ни малейшего повода полагать, что людям было даровано «откровение с небес» («revelation from heaven», 31). Смелый человек обязан опираться не на чужие мнения, а на собственные доводы. Онегин извлекает из приобщения книжной премудрости тот же опыт, что и Алкифрон («Читал, читал, а все без толку: Там скука, там обман и бред...», I, XLIV), но о том, что он стал безбожником, можно только догадываться. Пушкин внушает читателю такой вывод исподволь, сравнивая идеи, не вос-

---

один англицизм – «vulgar», который маркируется в «Онегине» как слово, пущенное в оборот «модой самовластной» (I, XV). Именно с такой коннотацией оно встречается в «Алкифроне», где философствующие *petits-maitres* свысока взирают на «vulgar minds»: «All our discoveries and notions are in themselves true and certain; but they are present known only to the better sort, and would sound strange and odd among the vulgar» (43). Это же слово служит в «Алкифроне» лексическим средством для расподобления подлинного и низкого искусства: «But might not the same vulgar sort of men preter a piece of sign-post painting to one of *Raphael's*, or a *Grubstreet* ballad to an ode of *Horace*? Is there not a real difference between good and bad writing?» (71). На процитированную выдержку из текста Беркли Пушкин отзовется в «Моцарте и Сальери» с заменой Горация на Данте: «Мне не смешно, когда маляр негодный Мне пачкает Мадонну Рафаэля, Мне не смешно, когда фигляр презренный Пародией бесчестит Алигьери».

требуемые Онегиным, с оковами, смиряющими плоть религиозных аскетов: «На всех различные вериги» (там же)<sup>7</sup>. Подобно тому как Алкифрон прославляет свое нравное мышление и независимость атеиста от ходячих предубеждений («...the free-thinker [...] asserts his *original* independency», 36), Пушкин вменяет Онегину «Неподражательную странность И резкий, охлажденный ум» (I, XLV). Онегин – остроумец и мастер сарказмов:

Сперва Онегина язык  
Меня смущал; но я привык  
К его язвительному спору,  
И к шутке, с желчью пополам... (I, XLVI).

В своей колкой насмешливости пушкинский герой точно следует рецептам Алкифрона, заявляющего, что остроумные люди («our ingenious men»), поднимая на смех («by deriding», 112) аргументы в пользу религии, пользуются самым сильным методом убеждения. Онегин проводит время в тех же местах, куда любят наведываться «мелкие философы», охотно посещающие «гостиные» и «трактиры» (правда, Беркли не упоминает в этом списке театра, который важен для Пушкина в связи с одной из магистральных тем его романа, противопоставлявшего искусственно-игровое и естественное поведение). Убранство онегинского жилища, где было собрано «Все, что в Париже вкус голодный, Полезный промысел избрав, Изобретает для забав, Для роскоши, для неги модной...» (I, XXIII), соответствует учению друга Алкифрона, Лисикла, настаивающего на том, чтобы каждому было дано право на наслаждение. Всякое желание и всякий вкус («every appetite and every taste», 68) должны быть удовлетворены. Пушкин сочленяет «appetite» и «taste» в выражении «вкус голодный» и в сжатой форме повторяет соображения Лисикла (они окарикатурируют знаменитую «Басню о пчелах» (1714) Бернарда де Мандевиля) о том, что расточительные страсти выгодны для национального производства и торговли («забавы» способствуют «полезному промыслу»).

Алкифрон отказывается жертвовать собой ради чужого блага: «Счастье других не входит в состав моего собственного...» (38;

---

<sup>7</sup> В выпущенной из Второй главы строфе, следовавшей за четырнадцатой, нигилизм Онегина не был зашифрован и характеризовал там именно рефлексию героя, который «...думал, что добро, законы, Любовь к отечеству, права Одни условные слова»; ср. декларацию Алкифрона, жаждущего уничтожить «...all this whimsical notions of conscience, duty, principle...» (36).

«The happiness of other men making no part of mine, is not with respect to me a good», 50). Соратнику по свободомыслию вторит Лисикл, выдвигая в центр антирелигиозных воззрений «личный интерес» (54; «...private interest is the first and principal consideration with philosophers of our sect», 67). Возражая Лисиклу, поборник разумной веры, Критон, сетует на то, что себялюбие и погоня за наслаждениями отпугивают молодых людей от вступления в брак: «But in proportion as vice and luxury [...] prevail among us, fewer are disposed to marry, too many being diverted by pleasure...» (66). Дискуссии об эгоизме, которые ведут персонажи Беркли, явным образом программируют сюжетное развертывание пушкинского романа, достигающее одного из своих критических пунктов в «исповеди» Онегина о нежелании заводить семью и в аккомпанирующей этому признанию иронической авторской сентенции: «Кого ж любить? Кому же верить? [...] Любите самого себя...» (IV, XXII). Не исключено, что в сочинении Беркли берет начало не только поступок Онегина, отвергнувшего брачные узы, но и, хотя бы отчасти, фантазия Татьяны, которая видит во сне своего суженого в облике «хозяина» преступного притона во главе «шайки» химерических чудовищ. У Беркли Алкифрон предсказывает, что скептически настроенные умы с их стремлением быть верными природе будут ложно представлены расхожим мнением как разбойники, нарушители общественного порядка:

It is very possible, the heroic labours of these men may be represented (for what is not capable of misrepresentation?) as a piratical plundering and stripping the mind of its wealth and ornaments; when it is in truth the divesting it only of its prejudices, and reducing it to its untained original state of nature (44)<sup>8</sup>.

Парности атеистов у Беркли отвечает в «Онегине» параллельность заглавного героя романа и авторского «я». Если Оне-

---

<sup>8</sup> Ср.: «Очень может быть, что героические усилия этих мужей кто-то представит как пиратство и грабеж, отнимающие у души ее богатства и украшения – ибо что в нашем мире в силах избежать клеветы? – тогда как на самом деле это лишь освобождение от предрассудков и возвращение человеческой души в ее неиспорченное и первозданное состояние» (32). Во сне Татьяна теряет «золотые серьги» (V, XIV) – не отразились ли в этом мотиве слова Алкифрона об обкрадывании «украшений» («ornaments») души («mind»), в котором могут быть обвинены вольнодумцы? Во французском переводе «Алкифрона» «wealth» переименовывается в «Beauté» (51), что, быть может, побудило Пушкина отметить, кроме потери серег, и ущерб, причиняемый во сне как здоровью, так и красоте Татьяны: «То длинный сук ее за шею Зацепит вдруг...» (там же).

гин подхватывает и реализует убеждения как Алкифрона, так и Лисикла, то себя самого Пушкин ассоциирует по преимуществу с первым из этих лиц. Вразрез с аморальным Лисиклом, Алкифрон формулирует (вслед за Эшли Шефтсбери, в которого метил Беркли) нравственное учение, обходящееся без религиозных страхов и надежд. Оно зиждется на идее прекрасного, которая врождена людям и которой достаточно, чтобы они объединились в гармонии друг с другом и с природой. Сосредоточенность только на себе («selfish thing», 94) чужда тем, кому свойственно эстетическое чувство («fine taste», 95). Этим принципом руководствуется и Пушкин, объясняя читателям «разность» между автором и героем романа: «Как будто нам уж невозможно Писать поэмы о другом, Как только о себе самом» (I, LVI). По Алкифрону, мы судим о добродетельности поступков, опираясь на ту же эстетическую интуицию, каковая позволяет нам безошибочно оценивать изящество в одежде: «And as we readily pronounce a dress becoming or an attitude graceful, we can, with the same free untutored judgment, at once declare, whether this or that conduct or action be comely and beautiful» (95). Уход за собой (почти body art) и способность совершать общественно значимые действия вполне совместимы, провозглашает Пушкин («Быть можно дельным человеком И думать о красе ногтей» I, XXV), и тут же изъясляет готовность «описать [...] наряд» Онегина (но не исполняет замысел из-за обилия варваризмов в словаре моды). Было бы правомерно думать, что, определяя свой роман как «свободный» (VIII, L), Пушкин имел в виду не только неподчиненность текста твердому плану, но и выпадение автора из рамок традиционно-церковной этики в подходе к своему герою. «Магический кристалл» (там же), в котором автору «Онегина» проступают контуры его творения, заимствован Пушкиным из реплики Алкифрона, намевающегося через увеличительное чудо-стекло («the magnifying glass», 176) следить за соблюдением незапятнанности той свободы («independet liberty», *ibid.*), что конституирует английское общество. Пушкин настолько не согласен с защищающим религиозную нравственность Критоном, что принимает брошенный им вызов, откликаясь на его, адресованное вольнодумцам, предложение оставить христианский мир и отправиться к готтентотам: «In good earnest, I wish you would go try your experiments among the Hottentots or Turks» (83). Лисикл отклоняет это предложение, ссылаясь на то, что обычаи готтентотов не подходят просвещенным философам. Пушкин внемлет совету Критона:

Придет ли час моей свободы? [...]  
Когда ж начну я вольный бег?  
Пора покинуть скучный брег [...]  
И средь полуденных зыбей,  
Под небом Африки моей,  
Вздыхать о сумрачной России... (I, L).

Но, отрекаясь от религиозной морали в пользу эстетической, Пушкин вводит читателя к концу стихотворного повествования в обстоятельства авторского кризиса: «Хоть я сердечно Люблю героя моего, [...] Но мне теперь не до него. Лета к суровой прозе клонят, Лета шалунью рифму гонят» и т. д. (VI, XLIII). Тогда как Критон старается переубедить «мелких философов» и обратить их в свою веру посредством рациональных доводов, Пушкин менее всего озабочен выстраиванием теодицеи, которая держалась бы на апелляции к разуму<sup>9</sup>. Об остывании поэтического жара речь заходит там, где в роман вторгается не снимаемое противоречие – убийство Онегиным друга. Вторая невосполнимая дисгармоничность, которую не может преодолеть роман и на которой обрывается стихотворный рассказ, – безрезультатная страсть Онегина, влюбившегося в замужнюю Татьяну. Эстетика не способна подменить собой этику, потому что жизненные отношения не предсказуемы, не поддаются упорядочиванию по взаимному согласию участвующих в них партнеров. Пушкинский роман принципиально недоктринален (и он «свободен» также в этом смысле), не выдвигает никаких конструктивных идей, способных противостоять идеологии либертинажа, и одновременно показывает ее крах, аргументируя ех negativo – от игры случайностей. Если человек и находится в чем-то распоряжении, то он подвластен не Божественному промыслу, а Фатуму. Воистину свободна бытийность – для субъекта это состояние не достижимо.

Один из существенных моментов в прениях о вере у Беркли – расхождение спорящих сторон в понимании зрения. Алкифрон сомневается в метафизике, поскольку доказательно для него лишь чувственное восприятие, прежде всего – визуальное. Ефранор, хозяин имения, где происходит диспут, просит Алкифрона

---

<sup>9</sup> Знаменательно, что Онегин, впад в любовное смятение, читает «скептического» Пьера Бейля, чей «Исторический и критический Словарь» (1697) был враждебен Беркли, так как проводил мысль о недоказуемости бытия Божия с помощью логики. Хотя Онегин и вынужден отойти от былого вольнодумства, он далек от того, чтобы поклоняться вместе с Беркли «богу философов», как пренебрежительно выражался по подобным поводам Паскаль, предшественник Бейля.



уточнить занимаемую им позицию: «You believe then as far as you can see». «That is my rule of faith» (118), – отвечает тот. Возражая на философию сенсуализма (много позднее Морис Мерло-Понти назовет ее «перцептивной верой»), Ефранор отождествляет действительность с текстом, требующим не столько видения, сколько прочтения-истолкования (вещи для него суть «only [...] visible signs and tokens», 120). Конечно же, «двойной лорнет» (I, XXI) Онегина – модный аксессуар, одна из деталей светского быта, в подробностях живописуемого в романе. Но, помимо этого, оптический инструмент, которым пользуется герой, – свидетельство близорукости философа (по утверждению Алкифрона, она невозможна: «...an acute philosopher [...] has no blindness», 237). Прозрение приходит к Онегину, когда его поработщает любовь. Глотая подряд философские книги и журнальную всячину, «Он меж печатными строками Читал духовными глазами Другие строки» (VIII, XXXVI). Духовидение открывает Онегину не «infinite power and wisdom» (119), не божественный план тайно устроенного мироздания, как того хотелось бы Ефранору, а собственную судьбу, сравнимую с ходом карточного сражения: «А перед ним Воображенье Свой пестрый мечет фараон» (VIII, XXXVII). Если у Беркли действительность семиотична, то у Пушкина постижение текстов означает их опрокидывание в «жизненный мир». Несводимость реалий ни к какой головной схеме решительно мешает рассматривать их в качестве знаков и вызывает переворот представлений, исповедывавшихся Беркли. Занимая напрокат у Алкифрона «the magnifying glass», чтобы объяснить, как видит поэт, Пушкин вместе с тем отмежевывает себя и от этого персонажа, и от Онегина, которым одинаково нужна была оптика для разглядывания близи, непосредственно данного (будь то английское общество или петербургский свет). «Магический кристалл», напротив, позволяет (пусть «не ясно») распознавать «даль» – судьбоносную историю, вламывающуюся в текст, а не выводимую из него.

Заключительные строфы «Онегина», в которых обсуждается перипетия создания романа, были написаны после знакомства Пушкина с Первым философическим письмом Чаадаева, состоявшегося, как известно, в июне 1830-го года. Объявленная здесь Пушкиным свобода текста от идейной заданности конфронтирует с чаадаевским предначертанием российского будущего в качестве вливающегося в историю романо-германской Европы, взявшую начало в католицизме. Обрыв повествования «в минуту злую» (VIII, XLIII) для героя, оставляющий неопределенным исход

катастрофы, подтверждает, с одной стороны, правоту Чаадаева, пенявшего русским за то, что они ограничивают себя настоящим и движутся «по линии, не приводящей к цели»<sup>10</sup>, но, с другой стороны, обезвреживает (наподобие фармакона) эту критику, раздает волю течению истории и снижает ценность текста как регулятора событий. Второй диалог «Алкифрона» странным образом предсказал поворот Чаадаева к католицизму. Ефрандор спрашивает Лисикла о том, не соблазнятся ли вольнодумцы в своем непрестанном оригинальничанье «папизмом» после того, как возьмут верх в Англии. Циничного Лисикла вовсе не пугает перспектива обращения независимых мыслителей в католиков: «I know several ingenious men of our sect, who, if we had a popish prince on the throne, would turn papists to-morrow» (89). Окрещенный в начале романа «вторым Чаадаевым» (I, XXV), Онегин претерпевает эволюцию, уводящую его прочь от составителя Философических писем. Тот становится доктринером – Онегин же оказывается в ситуации, в которой он, охваченный безответным чувством, умственно беспомощен, и которая представляет собой как раз тот «пробел («lacune») в интеллектуальном порядке»<sup>11</sup>, куда Чаадаев поместил Россию. «Философ в осьмнадцать лет» наказывается по мере созревания по тому образцу, по какому Чаадаев винил свою страну. Роман делается судом над философией – атеистической ли, религиозной ли. Парадокс этого состязания литературы с умозрением в том, что в попытке превзойти философию любого рода роман и сам прекращает свое развертывание, бросает своего героя в невыясненных обстоятельствах, иссякает, не может быть завершен. И потому автор и герой обмениваются признаками: один опасается утратить силу поэтического дара, другой, пребывая в любовном томлении и унынии, едва не делается поэтом, но все же только внешне уподобляется ему. Соревнование изящной словесности и философии не приносит выигрыша ни той, ни другой партии, ни автору, ни герою. Не в этом ли подытоживании вничью спора между дискурсами и заключалась так называемая «мудрость Пушкина» – качество, о котором может только мечтать философ, участвующий в быстрой смене идейных систем, и которое тем менее свойственно писателю, чем глубже он погружен в воображение?

<sup>10</sup> П. Я. Чаадаев, Полн. собр. соч. и избр. письма. Т. 1. М., 1991, 326.

<sup>11</sup> Там же. С. 330.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
НАУЧНЫЙ СОВЕТ РАН ПО КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОЛОГИИ,  
СРАВНИТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР

# LAUREA LORAE

**Сборник памяти  
Ларисы Георгиевны Степановой**

Санкт-Петербург  
Нестор-История  
2011